

Александр Орлов



Александр Владимирович Орлов – поэт, прозаик, публицист, историк, член редакционного совета журнала «Берега», директор Международного Славянского литературного форума «Золотой Витязь» с 2020 года. Член Литературного форума «Мир слова» Издательского Совета Русской православной церкви, жюри Международного детско-юношеского конкурса им. И. С. Шмелёва «Лето Господне», жюри Международного открытого конкурса «Просвещение через книгу», жюри Международного литературного конкурса им. С. Т. Аксакова ИС РПЦ, Совета экспертов Патриаршей литературной премии имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Лауреат Всероссийской литературной премии им. М. Ю. Лермонтова, Международной литературной премии «Югра», Премии им. Н. С. Лескова «Очарованный странник».

ОДНОРОДЕЦ

Рассказ

Нет таких ножниц, которыми можно было бы вырезать что-либо из памяти истории.

*Священномученик Кирилл (Смирнов),
митрополит Казанский*

Мы возвращались с бабушкой с медицинского обследования. Казалось, по нашему маршруту весна перебила настойчивые городские запахи и везде распространяла пропитанные черёмухой и прошедшими праздниками сквозняки.

Бабушка посмотрела в окно машины с заднего сиденья, улыбнулась и так тихо, с любовью пронесла:

– Вот весна... Как мы её всегда ждали, и она всегда приходила и дарила нам надежду, и сейчас так. Ты только посмотри вокруг, какая красота: весь мир дышит весной, каждая клумба, каждый цветок, каждое раскрытое окошко, а главное, люди, люди какие счастливые. Вот посмотри, нет, ты только посмотри, какие девушки красивые идут, нарядные, как мы после войны, все по выходным по городу гуляли, и в парк, и в кино, и в театр ходили. Жизнь такая разная и одинаковая, и сейчас вот, наверное, в кино идут или в парк, как и мы, компанией большой после работы и без ребят, видно, правильные, – одобрительно заключила бабуля.

Я ничего не собирался скрывать от бабушки, да и посмеяться хотелось. Зная её открытый и вспыльчивый нрав, я сказал:

– Бабуль, эти девушки не с работы идут, а они только заступили на смену.

– Они что, медсёстры? Больница-то рядом... – спросила бабушка.

– В своём роде они, конечно, медсёстры, только специфика их помощи особенная, – отвечал я.

– Это какая такая специфика? – встревожилась бабушка. В моменты, когда она была готова начать ругаться, глаза её словно увеличивались в размерах.

– Бабуль, ты не нервничай. Эти девушки с Украины оказывают интимные услуги всем мужчинам, кто обратится к ним или их бригадирам, а охраняют любвеобильных работников крепкие парни из Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Ровненской и других западных областей бывшей Галиции.

Бабушка была в полнейшем шоке. Она побелела, и я даже стал за неё волноваться. Она почти закричала:

– Ты меня что, за дуру держишь? Я ещё ума здравого, душой никто не считает, и я на жизнь и разум не жалуясь. Господь Бог милует! – Она уже разошлась и продолжала: – Чтобы в Москве, в центре города, на Ленинском проспекте, посреди белого дня эти стояли, да толпами! Потаскухи всякие да бандеровцы! Ты что, думаешь, мне голову отрезали вместо почки?

Я, рассмеявшись, сказал:

– Понимаешь, сейчас такое время, всё можно, вот они и стоят с семи часов вечера у больницы Святителя Алексея, митрополита Московского.

– Ты послушай, что я скажу, – бабушка ринулась в словесную атаку. – Я жизнь прожила и много что видела. Я и Сталина, и Хрущёва, и Брежнева, и подкаблучника меченого помню, но такого, как сейчас, никогда не было и быть не может, – отрезала она.

– Я не буду спорить, но смотри, – парировал я.

Перестроившись вправо, я резко припарковал машину недалеко от автобусной остановки, и ко мне мигом подошла сильно накрашенная женщина лет сорока пяти:

– Добрый вечер! Что желает молодой человек? Вы каких девушек предпочитаете? Помоложе, постарше? С формами или без? Ой, какие у вас зубы белые, какой мальчик неиспорченный...

Она не унималась. Я извинился, сказал, что освобожусь и заеду позже. Бабушка сидела молча. Смотрела на меня безотрывно. Казалось, она замерла на веки вечные.

– Да ладно тебе, бабуль, не думай об этом, сейчас всё это в порядке вещей, – успокаивал я бабушку.

Мы приехали домой. Я привёл её на кухню. Бабушка молчала. Потом напомнила мне, что закончился хлеб и ей необходимо топлёное молоко, лучше «Можайское». Я мигом сходил в магазин, а когда вошёл в свою комнату, то она сидела рядом с иконостасом у раскрытого окна.

– Ты что задумалась, бабуль? – поинтересовался я.

– Прабабка моя Аксинья, ты-то не застал её, – начала своё повествование бабушка, – всегда правду говорила. У неё было двенадцать человек детей, она первого мужа потеряла в Японскую, потом Германская её счастье не обошла стороной, поэтому она несколько раз была замужем, каждый раз оставалась вдовой с детьми, но она хорошая была, её и сватали. Потом уже при большевиках голод был, отбирали всё, что есть, до последнего. Эта беда и её дом затронула, и она, как уже во время военное было – всех детей раздала в служение тем, кто хоть как-то прожить мог, а то бы все умерли. Так вот, она все посты соблюдала, уже когда старенькая совсем была, подслеповатая, всегда ложку с собой носила, её все дети наперебой звали к себе на обед, или ужин, или на праздник, но она своенравная была, сама решала, к кому пойдёт. Так вот, первым делом, когда она садилась за стол, она молилась, а потом тех, кто говорил во время еды, кто потом не помогал старшим, била со всего маха в лоб. Она мне говорила всегда одно и то же: «Ты, Томка, доживёшь до конца века, ты сама всё разглядишь, уже старая будешь, но кончину эту лютую углядишь, и будет она не с неба, не с земли, не с воды, она в душах произойдёт, и ты в такое придёшь сомнение, что тебе страшно станет за всех детей и внуков своих, что будет вокруг твориться, какой разгул и разврат наступит, что не захочется из дома выходить, а только молиться и поклонны класть». Ты понимаешь, о чём я? – спросила бабушка.

– Примерно понимаю, а ты можешь конкретнее мне всё изложить, не торопясь, – я успокоил её.

– Как тут не торопиться? Как тут не бежать? Куда глаза прятать? По-всякому мы жили, всё было: и скотину у нас, как у зажиточных, отбирали, и церкви рушили, и книги святые жгли с иконами, и отбирали – по домам ходили – всё, что можно, и войну мы пережили великую, и папу я потеряла, и с голоду дохла, и тиф меня убивал, и «юнкерс» бомбил, да так, что осколок меня поранил. Но чтобы посреди города, да ещё в столице, почти в центре, срамные девки стояли и собой торговали на свету, под охраной вражьего вывода пред ликами святыми, что на стенах больничных, такого никогда не было. Это всё с того дурака началось, там, в Кремле. Знать, от водки совсем умом рехнулся! Пьяница – живой мертвец, вот он умер и мается там в геенне огненной за то, что пил и страну нашу Советскую пропил. Ещё святитель Иоанн Златоуст говорил, что дьявол никого так не любит, как пьяниц, потому что пьяница исполняет его злую волю. Так всё и вышло у нас в России. Творится что – я тебя спрашиваю? Сраму, сраму-то на весь белый свет, позорище-то какое! Как исправлять всё это? Кто осилит? Кто? А я дура какая, как я Аксинье не верила! Господи Боже мой, помяни во Царствии Своём рабу Божию Аксинью Егоровну Сёмину, прабабушку мою любимейшую. – Она была готова заплакать.

Мне стало стыдно, и я понимал, что совершил дурацкий поступок, но бабушка не останавливалась:

– Формы? Боже мой, «формы какие надо?» – передразнила она давешнюю крашеную бригадиршу. – Совсем страх потеряли! Помню, Аксинья наша грудастая была. Я когда на неё смотрела, всё думала, что никогда не хотела бы такие груди, как у неё, но вот надумала, и Бог меня за это покарал, вон я какая народилась, стала, как она, с шестнадцати лет мужикам на загляденье, и круглолицая, – вся в неё. Господи, а как я стеснялась, из дома выходить лишний раз не хотела, всё понимала, что глаза будут, и плакала, пока мама уже меня не выталкивала из дома, а всё почему? Потому как воспитание было наше – от века до века. Ты ту же Аксинью возьми, она тоже, как я знаю, с пути сбивалась. После того как мужа потеряла второго, что в Германскую погиб, то стала понемногу прикладываться к бутылке, не сильно, по чуть-чуть, но частенько, и как-то раз покаялась новому священнику в Преображенском храме. Звали его отец Фёдор, он незадолго до войны у нас служить стал в новом храме. Он сам наш был, с Тверской земли. Вся твоя родня там живёт – в Кимрах, Дубне, Конакове, Кашине, Твери, а папа мой и мама до революции в Рыбинске жили. Маму мою девчонкой Аксинья отдала в служение хорошим людям, там она своё счастье и встретила. Только после революции скрывались в деревне Макарово, потом в Кимры переехали. Так вот, отец Фёдор был наш что ни на есть земляк, и стал он присматривать за Аксиньей и не давать ей сбиться с пути истинного. Она и в обществе помощи фронту у батюшки состояла, как-никак солдатка, и жене его в нём помогала собирать всё, что для солдатиков наших надобно было. Шила одежду для солдат, посылки собирала, да и самой что-то перепадало, война, она всегда с голодом приходит.

Батюшка вообще сердечный был, заботливый. Я его не застала, но мама моя говорила, что к Аксинье и к ним с папой часто заходил батюшка Фёдор. По праздникам и в обычные дни. У него предчувствие было сильно развито, если что худое, он и появлялся, да и Кимры не Москва – все друг друга знали и с соседями дружили, не то что сейчас... – Она замолчала.

– Значит, отец Фёдор был духовником Аксиньи? – спросил я бабушку.

– Может, и так, я точно сказать не могу, да и арестовали его, как мне рассказывала мама, а потом и убили, – ответила она.

– Как убили?

– Как, как... Известное дело, как – расстреляли, что удивительного-то? Всех батюшек тогда расстреливали, ну, если не всех, так многих, ничего нового здесь нет, скорбь одна и срам, – подвела итог бабуля.

– А его за что? – продолжал я расспросы.

– Как за что? – удивилась она. – За Бога! Так было тогда не только с ним. Батюшку вначале арестовали, конфискация была, потом оштрафовали всю его семью. Потом он в Москву всё ездил, не служил у нас, ему нельзя было, но помогали ему все, так как прикипели к батюшке, а потом опять разрешили, и он до самого ареста и служил.

– Ба, я только не понял, а оштрафовали за что? Ты, видимо, путаешь что-то, – перебил я.

– Я ещё из ума не выжила, всё помню, что папа, мама и бабушка мои рассказывали, на память не жалуюсь, ты свою лучше проверь. Отец Фёдор платил штраф за то, что служил в церкви, и ему, кто возможность имел, помогали. Он концерты устраивал: пели для кимряков артисты приезжие песни духовные, акафисты, много чего, что душе спокойствие приносит. Потом ему опять запретили служить, но уже кто старше него был.

– Почему?

– Потому как человек слаб, а тогда после революции много всего нового было, и церковь новая появилась. Как Аксинья сказывала, батюшка наш в искушение и впал, а может, это воля Господня, чтобы посмотреть на церковь новую, на людей в ней, разговоры их послушать и нам, грешным, потом рассказать, чтобы мы лжепророкам самозванным не верили, в ересь не впадали. Он один к ним, как в ад, спустился, чтобы нам свет правды о них раскрыть. Хотя мы в эту новую церковь никогда и не верили. Что нам новая, нам старая роднее, мы при ней рождены, крещены, венчаны и отпеты будем. Она нам мать, а Господь нам – Отец.

– Бабуль, а ты помнишь отца Фёдора? Какой он был? – Мне хотелось узнать о нём побольше.

– Ты меня, видно, плохо слушаешь, всё спешишь, а спешка, она не от Бога. Умер батюшка наш, не сам, правда, убили его, расстреляли, почти за два года до моего рождения. Только в вой-

ну Церкви нашей полегче стало. У Сталина свой на это взгляд был. А батюшку убили за то, что он церковь отстаивал. Наш горсовет Кимрский захотел церковь закрыть и в ней поселить людей, а что-то на стройматериалы пустить. Народ, конечно, воспротивился, до самого Калинина дошли люди, но им отказали, а Калинин – величина был, всего Союза староста. Когда комиссия прибыла, чтобы все церковные вещи описать, ударили колокола, на тревожный звон народа собралось уйма, и внутрь их не пустили, а некоторым и досталось, избili охальников. Батюшка наш много раз к народу выходил, просил разойтись, успокаивал, и Аксинья наша там была, сама всего, что было, свидетельница. Три дня у церкви посменно дежурили, народа в храм-то наш ходило, почитай, несколько сотен человек, а потом милиция арестовала батюшку нашего и ещё с ним людей и в Тверь отвезли, потом в Москву.

Но судили отца Фёдора с размахом. В Кимры батюшку доставили с другими подсудимыми на открытой барже по Волге, пригласительные билеты напечатали, в газетах о суде писали, снискал наш батюшка славу, но родственников и близких на суд не пустили, всё в своих руках чекисты держали, а верховодили у них всё те же с окраины Родины нашей. Потом приговорили к расстрелу батюшку, несколько с ним человек, среди них сосед наш был с улицы Урицкого Анания Бойков. Его и папа и мама мои хорошо знали, мы же на улице Пушкина жили, а он от нас в пяти минутах ходьбы, самый центр.

Потом ещё немало народа отправили в тюрьму, и надолго. В зале много бесноватых собралось, они и в ладоши хлопали, и радовались смертной казни.

После того как батюшки не стало, в храме нашем обустроили клуб, в нём я не раз бывала. Иконы сожгли, а Аксинья с мужем и мама моя из костра успели две вытащить, солдаты их отгоняли, так они наутёк пустились с образами, и Богородица их хранила. Потом сосуды богослужебные, кресты, оклады иконные – всё на переплавку пустили, одежды священников, покровы на престольные на половики и тряпки изодрали. И в храме нашем заработал зрительный зал, читальня для местных, кружки работали в комнатах, и конечно, кино крутили, а на главе храма была красная звезда установлена.

Но Аксинья и мама моя в клуб ходить мне запрещали, да и другим детишкам тоже, а мы, не чета вам, послушными были, так он, храм наш, как клуб по большей части пустовал, а потом в нём склад был, зерно хранили, а вот после Победы сделали ремонт и начали службы в нём.

Но о батюшке нашем Фёдоре Ксенофонтовиче Колерове мы всегда помнили, а Аксинья, когда непостные дни были, всегда его поминала, и я поминаю, и убиенных с ним. Вот Евангелие твоё в храме нашем куплено, когда там отец Фёдор служил, оно мужу второму Аксиньи принадлежало, с которым она на службе у батюшки нашего познакомилась.

Бабушка перекрестилась и замолчала. Я открыл Евангелие и прочитал: «Издание сорок первое. Санкт-Петербург. В Синодальной типографии. 1891 год». А на обороте страницы чернилами: «Книга принадлежит Ивану Васильевичу Рыбкину».